

«ИМПЕРСКАЯ» ИДЕНТИЧНОСТЬ

Роль, которую принимает на себя антрополог, встречаясь с местными жителями, подчас оказывает решающее воздействие на дальнейший ход исследования, поскольку с этой ролью связано понимание того, каковы его цели. Иногда местные жители сами наделяют исследователя знакомой им ролью.

- Ты откуда?
- Из России. Вот, ездю по Средней Азии, смотрю, как люди живут.
- Ну и как живут?
- Да не знаю пока...
- Плохо живут. Разве это жизнь. Вот в России, там живут... Тебя как зовут?
- Саша.
- А Вас?
- А меня Олим.
- А еще я обычаи изучаю, традиции...
- А... А я тебя знаю, ты Шурик. Помнишь, фильм был... это... как его? (*смеется*)
- «Кавказская пленница»? (*смеюсь*)
- Ну да. Пойдем, Шурик, ко мне, посмотришь, как живут.

Это один из типичных диалогов-знакомств с местным жителем, мужчиной средних лет, диалог, который был бы ничем не примечателен, если бы не это всеобщее недовольство жизнью и не этот осколок советской культуры, определивший мою роль. Я встречался с Шуриком на Кавказе, но не ожидал встретить его в Средней Азии. И, кажется, мне повезло.

Проводя полевые этнографические исследования в бывших республиках Советского Союза, неизбежно сталкиваешься с явлением сознания, которое можно назвать «имперской» идентичностью. Мне не раз приходилось слышать от представителей среднего и старшего поколения выраженную публично самоидентификацию: «Мы – советские люди». Не вдаваясь в теоретическую полемику по поводу того, является ли Советский Союз продолжением Российской Империи и в каком смысле, я буду считать советскую идентичность (самоопределение) частным случаем имперской идентичности (исследовательское определение). Под империей я буду понимать обширное мультиэтническое, мультикультурное государство, иногда включающее в свой состав другие государства или политические образования, которое организует и объединяет определенную культурную область.

Империю невозможно представить без имперской религии или идеологии, которая носит универсалистский характер, без единого языка управления и бюрократического административного аппарата, единственной инстанции между «императором» (центральной сакральной властью) и населением. Также невозможно вообразить ее без дорог (контроль над пространством), календаря (контроль над временем) и границ, защищающих от «варваров». Однако культурная экспансия раздвигает границы и приводит к политике унификации, ассимиляции и колонизации, ведь нет империй без империализма! В таком случае имперская идентичность есть сознание принадлежности к такому политическому образованию (как правило, положительно окрашенное).

Насколько мне известно, в социальных науках понятие «идентичность» (identity) впервые систематически использует в своих работах 1950-х гг. британский социальный психолог и психоаналитик Эрик Эриксон (см., например, Erickson 1959). С тех пор это понятие прочно вошло в язык социальных наук, переопределив семантическое поле таких концептов, как «личность», «Я» (self), «Я-концепция», «образ себя», «самость», мидовские «I» и «Me», «самосознание». Позднее вводится важное различие между самоидентичностью (self-identity – возможный русский эквивалент «самотождественность») и навязанной идентичностью. Развивается понятие набора идентичности: имя, тело, собственность, социальные роли. Начинают говорить не только об индивидуальной, но и о коллективной, групповой идентичности. Выделяется ситуативный аспект идентичности – идентификация. Наконец, важнейшая проблематика связана с динамикой идентичности, с ее развитием во времени: не только онтогенетически, как у Э. Эриксона и в других теориях социализации, но и в контексте исторических или социально-культурных изменений.

Нагрузка, которую несет это слово, колоссальна. Классовая, гендерная, этническая, национальная, профессиональная – попробуйте «вынуть» этот термин из тысяч научных статей и плотная ткань текста превратится в ячеистую сеть. Размножение идентичностей и контекстов употребления стирает и размывает его смысл. Я попытаюсь прояснить сознание принадлежности к одному из самых крупных и абстрактных воображаемых сообществ (Андерсон 2001).

Две модели идентичности

Существует несколько моделей пространственной идентичности человека, его размещения в том или ином сообществе, связанном с территорией. Одна модель – иерархических вложений, следующая логике исключений (или-или), другая – наложений и пересечений, следующая логике включений (и то, и то). Согласно первой модели, в той или иной социальной ситуации (причем, необязательно ситуации социального взаимодействия) могут актуализироваться идентичности, которые иерархически вложены друг в друга, как вложены друг в друга социальные сообщества, связанные с территориальными границами. На каждом уровне возникает определенная солидарность, одновременно исключаящая других. Например, при встрече жителей Самаркандского района будет важно то, что они из одного кишлака (локальная идентичность), при встрече жителей Узбекистана – то, что они живут под Самаркандом, а не в Ташкенте

(субрегиональная идентичность), для узбекских эмигрантов в России – то, что они приехали из Узбекистана, в отличие от граждан Таджикистана или Молдавии (национальная идентичность), при встрече с россиянами в Узбекистане – то, что они «советские люди» («имперская» идентичность), при встрече с таджиками в Европе – то, что они из Центральной Азии (региональная идентичность). Логический предел данной модели – встреча космополитов, стирающая всякие различия. В этом примере я сознательно отвлекаюсь от всех других типов идентичности (особенно этнической, религиозной и расовой), которые лишь опосредованно связаны с пространством, хотя логика исключений точно так же довлеет и над ними.

Модель иерархических вложений можно представить в виде диаграммы, изображающей расходящиеся от Эго концентрические круги, которые соответствуют сферам солидарности (нравственности), включенным в территориальные границы.

Социальная ситуация (в случае социального взаимодействия это участники взаимодействия, цель и социальный контекст; в случае взаимодействия с объектами это могут быть значимые символы локального сообщества или более широкого воображаемого сообщества) определяет выбор и актуализацию идентичности той или иной степени абстракции. Иерархия идентичностей не означает иерархии приверженности или лояльности, которая определяется историческим и социокультурным контекстом. Порой люди готовы отдать жизнь не только за свой кишлак, но и за свою нацию.

В другой модели, которая более соответствует процессам глобализации, подчеркивается логика включений: и то, и то. Здесь идентичности накладываются друг на друга и пересекаются друг с другом, создавая подвижные границы. Люди участвуют во множестве социальных и культурных миров и этим себя ограничивают (определяют). Например, живущий в Израиле и не исповедующий иудаизм бухарский еврей, первым языком которого был русский, а уже потом таджикский и узбекский. Или сын татарки и русского, гражданин Таджикистана, служивший в советской армии и учившийся в России в 1980-е гг., полгода живущий в узбекском кишлаке в Таджикистане, а остальные полгода работающий на стройке в России, причем считающий себя советским человеком. Идентичность уже не привязана к какому-либо месту или исключаящим границам национального государства. Она транслокальна и транснациональна. Разумеется, логика включения относится и к другим типам идентичности, например, классовой или трансклассовой (бесправный эмигрант в одном обществе может относиться к состоятельным слоям другого), этнической или трансэтнической. Такой модели, по нашему мнению, соответствует диаграмма Венна. Перед нами сложная картина переплетающихся принадлежностей, приверженностей, солидарностей, которые могут вступать друг с другом в конфликт, могут взаимно усиливать друг друга, могут подавляться, что опять же зависит от ситуационного, исторического и социокультурного контекста.

Опоры идентичности

Что же продолжает поддерживать имперскую идентичность в Узбекистане? Что позволяет создавать «транснациональные» социальные пространства, в которых «возникают формы жизни и деятельности, внутренняя логика которых объясняется той изобретательностью, с которой люди создают и поддерживают «не признающие расстояний» социальные жизненные миры и взаимосвязи действий?... Каким образом отдельным индивидам, нередко преодолевающим сопротивление национально-государственной бюрократии, удается их выстраивать и поддерживать в рабочем состоянии? Какие ориентации, ресурсы, институции благоприятствуют или мешают этому процессу?» (Бек 2001: 62-63).

Мне хотелось бы отметить четыре фактора: русский язык, русскоязычные СМИ, миграции и слабость *памяти-идеологии* новых наций. Причем последние два фактора напрямую связаны с бедственным экономическим положением, в котором население этих государств оказалось после обретения независимости, независимости, которая в случае Узбекистана обернулась официальной изоляцией.

Знание русского языка неравномерно распределено среди населения. Опыт моих встреч с мужчинами и женщинами разных поколений, слоев, районов показывает то, что знание русского языка возрастает вместе с поколением и уровнем образования, с переходом из сельской местности в города, особенно Ташкент, вместе с мобильностью и внешними миграциями и гораздо выше среди мужчин, чем среди женщин.

В советский период население Узбекистана довольно четко делилось на автохтонное (узбеки, таджики, каракалпаки, казахи, киргизы и др.) и неавтохтонное (русские, татары, корейцы, украинцы, евреи и др.). Неавтохтонное население владело русским языком и в основном не владело языками автохтонного. Автохтоны же были либо одноязычны, либо двуязычны (причем, вторым языком совсем необязательно оказывался русский, например, распространенный случай – таджикско-узбекское двуязычие в Бухаре, Самарканде, Ферганской долине). Разделению языков и ограничению распространения двуязычия, носившего односторонний характер, способствовала довольно жесткая этническая стратификация. А. Баскаков отмечал, что в сельском хозяйстве, торговле, мелком производстве, а также в сфере гуманитарных знаний и во многом в системе управления господствовали коренные народы, а в крупной промышленности, технике, естественных науках – некоренные. Например, на Ташкентском авиазаводе лишь 1 % работников составляли узбеки (Алпатов 2000: 110). Местные партийные и административные элиты состояли в основном из автохтонов, хорошо знавших русский язык, что хорошо отражает принцип рекрутирования, образовательный путь и тип идентичности имперских функционеров. Кстати, чиновники до сих пор составляют документы на русском, а затем переводят их на узбекский. Даже Ислам Каримов продолжает обсуждать рабочие вопросы на русском, и только перед камерой переходит на узбекский.

Неавтохтонное население сосредотачивалось в крупных городах, где часто происходила сегрегация по отношению к автохтонному населению. Хороший пример – русскоязычные районы Самарканда. Повседневное общение между двумя группами населения – официальное, деловое, дружеское – как правило,

происходило на русском языке, что, конечно, способствовало усвоению разговорного языка автохтонами, но было явно недостаточным из-за отмеченной пространственной и профессионально-трудовой сегрегации. Невысоким было и качество преподавания русского языка в национальных школах, поэтому узбеки, заинтересованные в карьере своих детей, отдавали их в русские школы, но таких людей было не так много.

Гораздо полнее русский язык осваивали в армии. Как известно, многонациональность была одним из главных принципов формирования армейских частей, «плавильного котла», где выплавлялась имперская идентичность мужской части союзных республик. Во время моего пребывания в Узбекистане я пересмотрел множество дембельских альбомов и выслушал множество эмоциональных воспоминаний о том, как молодые ребята из Средней Азии, не знавшие русского языка, попадали под Москву или под Ленинград, оказывались в окружении новобранцев со всей страны, открывая для себя большой и многоликий мир армейского братства. Особенно сильным аргументом в пользу советской идентичности мужчин старше 30-ти является воинская присяга. «Ведь мы давали присягу Советскому Союзу», – говорили мне информанты.

По сравнению с советским периодом, влияние русскоязычных СМИ в Узбекистане резко сократилось: почти прекратился выпуск газет, было сокращено время российского телевидения, причем часть эфирного времени была заменена турецким телевидением. Однако мои наблюдения показывают, что местные жители гораздо охотнее смотрят первый российский канал, пусть и в урезанном и подвергнутом цензуре виде, чем узбекские передачи, не говоря уже о тех, кто подключается к кабельному телевидению и получает доступ к другим российским каналам. Местные жители объясняют это тем, что узбекское телевидение скучное и лживое, особенно новостные и политические программы, которые вызывают у них нескрываемое раздражение. Похожую ситуацию я наблюдал в 2000 г. в Иране, где люди незаконно устанавливали спутниковые антенны, чтобы принимать две иранские программы, выходящие в Соединенных Штатах, поскольку содержание местных четырех программ было невыносимо. Надо ли упоминать про радиостанцию «Европа Плюс», создающую звуковой фон базарных площадей?

После распада Советского Союза начинается мощный миграционный отток русскоязычного населения из Новых наций [Ситуация неавтохтонного населения, прежде всего русских этнических меньшинств, ориентированных на эмиграцию и вынужденных приспособляться к новым режимам, неоднократно менялась, как менялась и их роль в деле поддержания имперской идентичности, однако эта проблема требует особого обсуждения, и здесь я могу только на нее указать.], что приводит к «автохтонизации» («коренизации», «индигенизация») – возможные варианты понятия, имеющие иные коннотации) населения бывших среднеазиатских республик. Этот процесс усиливается благодаря внутренним миграциям сельского населения в большие, особенно столичные города. Такое явление называют рурализацией города, для наших же целей важнее процесс его «автохтонизации». Мощные волны государственного национализма, политики «деколонизации» и идеологии независимости прокатываются по всем среднеазиатским республикам. Казалось бы, в этой ситуации имперская идентичность должна уступить место национальной, но экономический кризис подорвал доверие населения к новым национальным идеологиям и политическим элитам и вызвал ответ в форме массовых трудовых миграций. В разговорах со мной редкий русскоязычный узбек или таджик не изъявил желания в ближайшем будущем поехать в Россию на заработки, не попросил найти ему работу, не поделился своими воспоминаниями о работе на стройке, в торговле или сфере услуг. Конечно, автохтоны едут не только в Россию и Казахстан, но и в Корею, хотя в последнем случае требуются большие начальные вложения. Однако роль советского воображаемого пространства остается неизмеримо выше. Миграции – будь то челночные, сезонные или на постоянное жительство – остаются ключевым фактором поддержания имперской идентичности и создания «транснационального» жизненного пространства, которое остается, однако, в пределах империи.

Силу имперской идентичности можно почувствовать не в центре, а на окраинах империи, окраинах географических и социальных одновременно. Бывший Советский Союз во многих областях все еще представляет собой единое пространство, где говорят на русском языке, поддерживают общие институты права, политики и насилия, где сходная инфраструктура, где можно встретить один и тот же архитектурный стиль (сравните железнодорожные вокзалы в Ашхабаде и Сухуми). Но идентичность – это, прежде всего, память.

Память-империя

«Места памяти» (les lieux de mémoire) – так называется коллективный труд 100 известных французских историков, который создавался с 1984 по 1993 г. и вышел 7-томным изданием под редакцией Пьера Нора. Пьер Нора противопоставляет память истории. «Память – это жизнь, носителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. История – это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память – это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. История же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, многоплановыми, глобальными и текучими, частичными или символическими воспоминаниями, она чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или проекциям. История как интеллектуальная и светская операция вызывает к анализу и критическому дискурсу. Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую она сплавливает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее

о том, что память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием. Память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяженностей, эволюций и отношений вещей. Память – это абсолют, а история знает только относительное» (Франция-память 1999: 20). Это рефлексивный труд, история истории, делегитимизация и десакрализация разных типов истории-памяти: памяти королевской, памяти-государства, памяти-нации, памяти-гражданина. С каждой из них связаны свои места памяти, истории которых и посвящен этот труд. Причем, «эти четыре типа памяти получают смысл только благодаря пятому, нашему современному типу памяти, который и позволяет их обнаружить – *памяти-наследию* (mémoire-patrimoine)» (Франция-память 1999: 55).

В духе мест памяти мы могли выделить *память-империю*. Нам следовало бы проследить историю (включая историю истории) ее мест: символов – флага, гимна, герба, денег, календаря, памятников, топонимики, педагогики, коммемораций, историографии, территории и пространственного деления, карты, музеев и наследия, категорий населения и переписей, архивов, достопримечательностей и идентификаций. Те свойства и характеристики национальной памяти, о которых писал Пьер Нора, по-моему, относятся и к памяти имперской, памяти мест, поддерживающих имперскую идентичность.

Литература

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001.
2. Алпатов В.М. 150 языков и политика. 1917-2000. М., 2000.
3. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001.
4. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж. М.-СПб., 1999.
5. Erickson H.E. Identity and the Life Cycle. New York, 1959.